

1

Борис Чичибабин считал себя похожим на верблюда и даже умел делать губы и загривок так, что они становились верблюжьими. Об этом по разным поводам, конечно же, вспоминают многожды и многие, но, кажется, есть одна сторона, которую не разглядят, упустят.

Верблюд — обитатель пустыни, что значит — одиночества, несмотря на караванность существования, на погонщиков, и — вопреки им. Полнота общения, ниспосланная любовь, всегда сопровождавшая слава (не имеет значения, что в прошлые годы известность была изрядно ограничена) — и они не отняли у Бориса сосредоточенности на потаенном, которое он нес всю жизнь. Наверное, в этих, особо навьюченных на него, сумах, от каких, как известно, не зарекаются, хранились прописи и уставы иных, не написанных им стихов. Чичибабин ушел за горизонт, оставив нам только то, что счел нужным.

Он был высок, и стихи у него в большинстве длинные. Да и календарную жизнь он прожил немалую. Но его протяженность, вплоть до умения втридолга произносить слова, его вытянутость были не к небу, а — вперед, будто подмигивало ему оттуда, будто звало.

С религией он так и не определился, веру свою так и не канонизировал, хотя попытки к этому у него были. Но ему довлела лишь собственная молитва, сложенная им самим, а это в конфессиях не поощряется. Бог его знает, чьей он школы поэт.

В путевых заметках своих, в стихах о Крыме, Армении, Прибалтике, отрещиваясь

2

походя от прежних клятв, Борис присягает столь разным мирам, что можно заподозрить его в лукавстве. Да он и был лукав, он и поклонялся, не кланяясь, и припадал, не упав, и уходил, не оглядываясь. Может быть, он исповедовал начала той

самой рождественской звезды, с которой скользнул к нам на бесконечное мгновение.

С Борисом Чичибабиным мне случалось застольничать, выступать на поэтических вечерах, хоронить близких, бродить по лесу, грузить мебель, копать землю, но более всего — разговаривать. Поначалу это были беседы аристократические, когда я в основном внимал, потом стал, что оправдывала лишь молодость моя, задираться, и наконец субординация избылась и напоминала о себе разве что редкими дуэльными искусами.

Он выглядел мудрецом, но всегда старательно им не был, да, слава богу, и действительно не был им, ибо мудрецу собеседник не нужен и общаться с таковым — истинно школярская беда. Борис же в спорах увлекал, расшевеливал в тебе твое и даже в запальчивости непременно тебя слышал. Что за прелесть была поговорить с ним, что за соблазн.

Беседуя, он и негодовал, и ласкался, и шаманил, и дарил, и взывал. Следом за поэзией это было вторым его и очень серьезным занятием. В его порой бессвязной, порой скомканной, с ненужными, но милыми «битте-дритте» речи всегда бежал чистый ручеек от истока — от попытки познать необходимость нашу деревьям и травам, морям и долинам, зверям и букашкам, самим себе, наконец, и себе подобным. А иначе — зачем? Зачем даже — Нотр-Дамы, Матенадараны, церкви Покрова на Нерли?

В те самые 60-е, в самые первые из них, у нас в Харькове был свой клуб, который по русской литературной традиции можно назвать «Чичибабинские среды». Не считая

3

хозяина привечавшей нас семиметровой комнатухи с дверью почти на улицу, в первую его пятерку входили Марк Богославский, Лешка Пугачев, Саша Лесникова, Марлена Рахлина и я.

Всем названным Борис либо посвящал стихи, либо упоминал их в строках своих, — все они присутствуют в мире, сотворенном им из слов, созвучий, пауз и мастерских скороговорок с вкрапленными лишними словами. Все, кроме меня.

Это обстоятельство никоим образом не определяет моего места в пятерке, счастливыц которой были равно близки друг с другом, равно целовались и ссорились, нежили и обижали, хоровадились, никого не выталкивая из круга. Но оно,

обстоятельство это, объясняет отношение Бориса к легкости, которой я грешил.

Перед любой легкостью — в поступках ли, мыслях, оценках, рифмах, шутках — он останавливался в недоумении, в неведении, не понимал, не знал, как назвать ее и с чем ее едят. Он жил и писал трудно.

Хороший пловец, он и плавал трудно. Готовый весело рискнуть, он и проказничал с трудом или каясь, до того как набедокурил. (Мы с ним забрались в погреб, чтоб украдкой напиток домашнего вина, — Бог мой, он закашлялся, выдал нас и, кажется, более был доволен наказанием, чем несколькими глотками полубраги.) Неутомимый ходок, он и вышагивал — с усилием, натужно, словно преодолевал путь. Он улыбался охотно, но и к этому себя принуждал. Он и почерк завел, которым — не разгонишься.

Ни добро, ни зло на молекулы Борис не раскладывал, да и вообще любую сущность он воспринимал целостно, в той или иной ее завершенности. Но уж приглядывался цепко, и жизнь не могла всучить ему одно под маской другого. Если усматривал в ком-то мешок

4

с дерьмом, то — ряди того адвокаты хоть в лавры с сияниями, в зачет не шло, вони не убывало, и не замаливались грехи ни ратникам Сатаны, ни врялям и невеждам, ни политиканам, ни хамлу, ни прочей сволочи. Если же он видел, что в ком-то дух щедрее длани и летит на праведных крыльях, то никакие прокуроры с доказательствами бабничества или баловства, бражничества или юродивости не отвращали от избранного горней чистоты и глубокой совести. Положив нормой своей максимализм, Чичибабин и хулил, и благословлял всегда наотмашь, без мутоты присяжного заседательства, без подкрадывания и разведок.

В стихах и быту он самодовлел одинаково и ровно. Поклонник Александра Грина, Борис не выстраивал себе эмпиреев, не обживался в них на халяву, трезво знал, что на кухнях — чадно, а в строфах — больно, но и в соленых грибочках толк понимал, и в рифмах тютельку в тютельке чувствовал. Он и писал-то непременно о быте, о бытии, и словно наконец-то по-настоящему проживал уже случившееся.

Убедившийся, что на свете счастья — ровно кот наплакал, Борис умел отыскать эти крохи и за доставшимся обедом, и поймав словцо для сонета, и

тогда уж тешился вдоволь, с хохотком и покрыванием. А в бескормицу, хлебную или словесную, он печалился истово, епитимизировал ту или иную голодуху и в общем-то различий меж ними не делал. Паперть не отсекала у него трапезную от храма, перейти оттуда — туда было шагом секундным. Хлеб же менял он разве что на махорку.

Мы ездили то ли в Изюм, то ли в Змиев, читали там свои стихи во время обеденных перерывов на разных производствах. Господи, что это было и мне, и ему за мучение! Дело даже не о нелепице этой развлекаловки шло. Дело шло о том, что мы стеснялись друг

5

друга, стыдились и вводных, и рифмованных речей своих, которых к ночи и водкой не зальешь. Нас сопровождали сытые лица районных аппаратчиков, довольных, что несут в массы культуру, а мы — два скомороха, два оборвыша, два обозленных на происходящее крикуна — мы исходили невидимыми слезами за семь рублей с копейками. Мы ненавидели друг друга, потому что один был свидетелем позора другого.

За что нас так? Да я-то — ладно, но он-то причем? Он, который и в специальной аудитории страдал оттого, что — на людях, среди каких большинства «это» не нужно. Он, для которого получить гонорар было чуть ли не малой Голгофой. За семь-то рублей с копейками.

Многое было, многое. Но сколь огромнее то, чего жизнь так и недодала ему, замотала, объегирила, ограбила — Поэта ограбила, сука.

И все же и чуда были нам. И с чьей-то полочки были, и в чтении новых стихов друг другу, и при неожиданных вылазках за город или в гости.

Вроде бы вся жизнь прошла против нас — подсматривала промахи, проступки, подслушивала откровения, а затем карала, отлучала, тыкала носом. А мы вдруг — с гуся вода, и плевки

в нас — не роса ли Божья? Ах, как любил эти минуты Борис, как упивался ими, как молодец и бравадился.

Проступало в нем тогда этакое гусарство от поэзии — убежденность, что нету праведнее нас, что это нам — до гармонии рукой подать, и никому больше. Мы даже пели дуэтом к удовольствию друзей:

Шурвалка-бурвалка,
наливалка-стукалка,

6

сам-пьем-бухаем,
наливаем-стукаем!

Ничего иного Борис не пел, остальную музыку он берег для стихов своих.

Все сказанное, конечно же, — лишь штрихи к портрету. Вне их осталось, наверное, неизмеримо большее. Ревнителю некоей кодексовой справедливости они не удовлетворят, а то и раздражение вызовут. Но цель моя не была — показать Бориса Чичибабина как он был или как он есть. Тут уж — каждому каждово и всяк на свой лад нагородит. Мне хотелось собрать для меня безусловное, а в остальном же — что я ему за судья, что за оценщик? Да и другое помнить надо — вслед говорим.



Тридцать с лишним лет мы с Борисом жили одновременно — то приближаясь, то расходясь. Срок вроде бы немалый, душе — хватит, но в миру — на полку не положишь. В миру этот срок мгновение, соприкоснулись и — прощай, Боренька. И смысл только в том, что прикосновение звало — искру, сугрев, ожог? Я всегда знал и знаю сегодня, что он где-то рядом, что небесные его глаза из-под косматых бровей видят мои потуги и тщания. Не нужно мне от Бориса ни похвал, ни укоров, достаточно — чтобы смотрел.

Боренька-а-а! Ау-у-у!

БОРИС ЧИЧИБАБИН

* * *

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?



В Игореvem Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.
1946

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга — шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травкою черной
беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы.
пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка-Сибирь.
На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русский рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...
Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать...
«И никто нам не поможет.
И не надо помогать».
1947

МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся сигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметесь и сидит.
А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.
Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.
Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.
А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.
1946

* * *

И опять — тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
и почует пчела на моем подбородке.
Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.
Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.
Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.
И не страшно душе — хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,



с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.
1948–1951

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвались лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...
А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.
Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, —
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.
На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется — в пене рот, глаза навывкате, —
все отведав, бьется Федор Достоевский.
Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.
Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, —
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.
Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.
Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.
1962

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет — и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.
Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
его терпенье пестуют пустыни.



Я весь в него — от песен до копыт.
Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.
Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, —
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюдо.
Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.
Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.
1964

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.
Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.
В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.
В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...
Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя — как на чужого.
С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто — ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.
Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.
1965



* * *

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.
У мира прорва бедолаг, —
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.
Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.
Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг — то лютей зверь,
что друг — то робот.
Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй, —
мы все привычною стезей
проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.
Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу, —
принять бы яду натошак,
принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты —
ладони, губы ль —
от повседневной маеты
идешь на убыль.
Как смертью веки сведены,
как смертью — веки,
так все живем на свете мы
в Двадцатом веке.
Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
— Бросайте все! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!

1966

* * *

Сними с меня усталость, мать Смерть.
Я не прошу награды за работу,





но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать неумоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О мать Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядом худую наготу.
На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.
Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью, —
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, мать Смерть.

1967

* * *

Большая черепаха —
ползучая эпоха,
смотри: я — горстка праха,
и разве это плохо?
Я жил на белом свете
и даже был поэтом, —
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.
Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.
Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.
Я — жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
по мне, и Петр Великий
не выше скомороха.
Как мало был я добрым
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам





судбиной, как дубиной.
В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерной зоной.
Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни врали и трусы
живут в моей державе.
В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.
Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.
Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету —
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.
От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что я был Чичибабин.
Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой,
опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.

1969

* * *

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему — поклон.
Остающемуся — братство.
Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему — рожок.
Остающемуся — кара.
Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего — пойму.
Остающегося — знаю.
Край души, больная Русь, —
перезвонность, первозданность
(с уходящим — помирюсь,
с остающимся — останусь) —



дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден и непомнящ,
уходящему – любовь,
остающемуся – помощь.
Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий – меч и труд,
остающийся – надежду.
Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему – Синай,
остающимся – Голгофа.
Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему – печаль.
Остающемуся – верность.
1971


ХЕРСОНЕС

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.
Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже –
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушьей.
А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.
Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечной пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...
Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...
В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
как той, что из пены возникла.
И в прахе отрытом все виделись мне
дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
молчанью мечты и смиренности.
Да будут нам снится воскресные сны

про край, чья душа синеока,
где днища давлен неэзримо красны
от гроздей истлевшего сока.
1975


СУДАКСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.
Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом — такая не Россия.
Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.
Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимилян Волошин.
Буддийский поп, украинский паньч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы — в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляню,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.
О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...



Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый Эдем —
над синим морем розовый шиповник.
1974

* * *




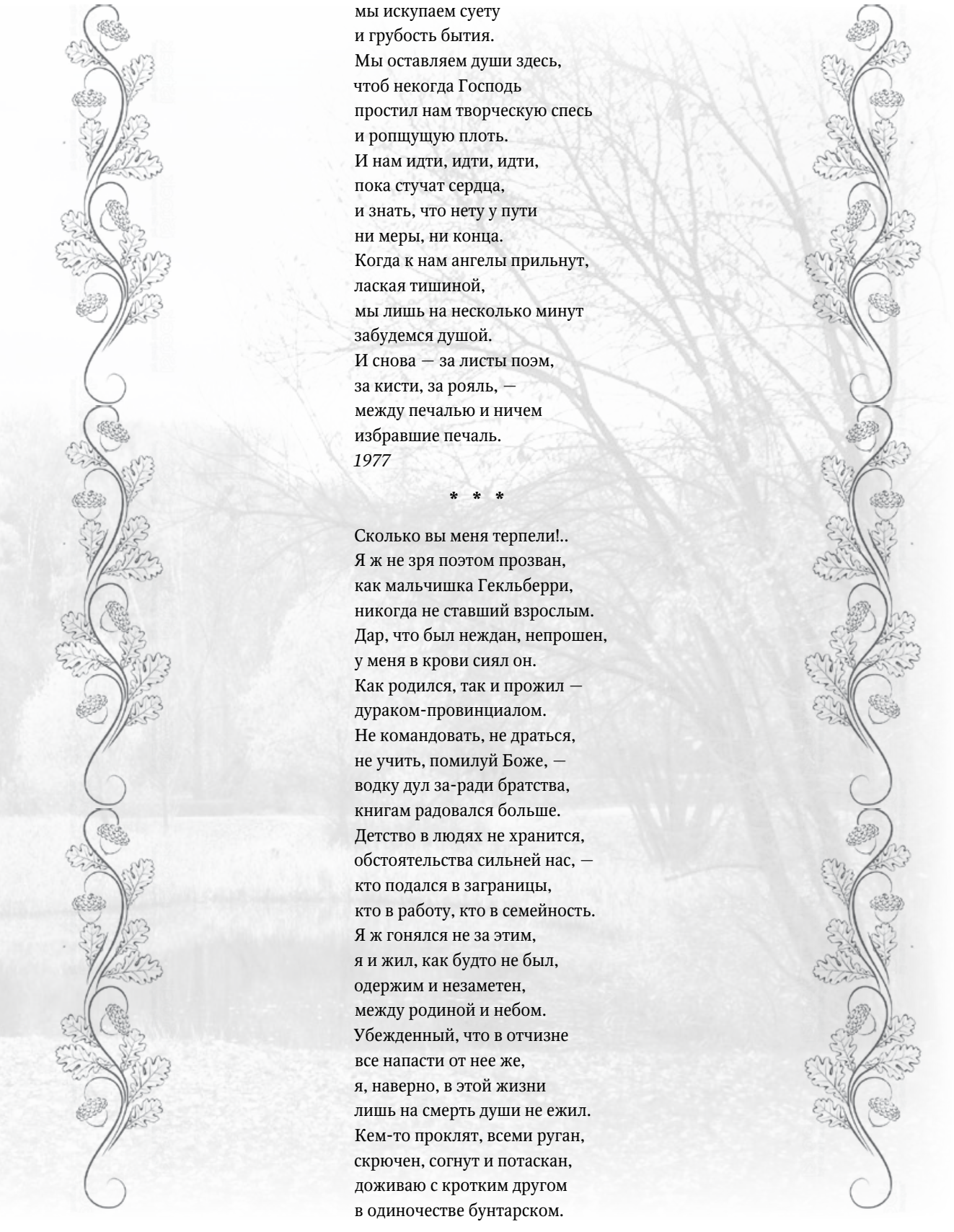

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч наострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.
Еле касаясь камней Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приавший вовек не спасется.
Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.
Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.
Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.
Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.
1977

* * *

Я почувал беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, —
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?
Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети, — словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.
О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.
И меня обижали — безвинно, взახлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.
И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через тернии за ним, —
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.
Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.
1978

* * *

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».
И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.
Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет Божий хмель.
Нам — как дышать, — приняв печать
гонений и разлук, —
огнем на искру отвечать
и музыкой — на звук.
И обреченностью кресту,
и горечью питья





мы испушаем суету
и грубость бытия.
Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.
И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.
И снова — за листы поэм,
за кисти, за рояль, —
между печалью и ничем
избравшие печаль.

1977

* * *

Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.
Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил —
дураком-провинциалом.
Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже, —
водку дул за-ради братства,
книгам радовался больше.
Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильнее нас, —
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.
Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.
Убежденный, что в отчизне
все напасти от нее же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ежил.
Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.





Сотня строчек обветшалых —
разве дело, разве радость?
Бог назначил, я вещал их, —
дальше сами разбирайтесь.
Не о том, что за стеною,
я писал, от горя горбясь,
и горел передо мною
обреченный Лилин образ...
Вас, избравших мерой сумрак,
вас, обретших душу в деле,
я люблю вас, неразумных,
но не так, как вы хотели.
В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.
Поменяться сердцем не с кем,
приотверзлась преисподня, —
все вы с Блоком, с Достоевским, —
я уйду от вас сегодня.
А когда настанет завтра,
прозвонит ли мое слово
в светлом царстве Александра
Пушкина и Льва Толстого?
1986

* * *

А. Вернику

Не горюй, не радуйся —
дни пересолили:
тридцать с лишним градусов
в Иерусалиме.
Видимо, пристало мне
при таком варьянте
дуть с друзьями старыми
бренди на веранде.
Лица близких вижу я,
голосам их внемлю,
постигая рыжую
каменную землю —
ублажаю душеньку.
Дай же Бог всем людям
так любить друг друженьку,
как мы ныне любим.
Чую болью сердца я:
розня и равня,
Муза Царскосельская —
всем нам мать родная.
Все мы были ранее



русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я — на Украине.
Смысл сего, как марево,
никому не ведом —
ничего нормального
я не вижу в этом.
Натянула вожжи — и
гнет, не отпускаая,
воля нас — не Божия,
да и не людская.
1992

Ода одуванчику

В днях, как в снах, безлюбовно тупящих,
измотавших сердца суетой,
можно ль жить, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой?
Хорошо, если пчелки напьются,
когда дождик под корень протек, —
только как ты его ни напутствуй,
он всего лишь минутный цветок.
Знать не зная ни страсти, ни люти,
он всего лишь трава среди трав, —
ну а мы называемся люди
и хотим человеческих прав.
Коротка и случайна, как прихоть,
наша жизнь, где не место уму.
Норовишь через пропасти прыгать —
так не ври хоть себе самому.
Если к власти прорвутся фашисты,
спрячусь в угол и письма сожгу, —
незловив одуванчик пушистый,
а у родичей рыльца в пушку.
Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других.
У того, кто ломает и слижет,
светлым соком горча на губах,
говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.
Ты его легкомысля не высмей,
что цветет меж проезжих дорог,
потому что он несколько жизней
проживает в единственный срок.
Чтоб в отечестве дыры не штопать,
Божий образ в себе не забыть,

тем цветком на земле хорошо быть,
человеком не хочется быть.
Я ложусь на бессонный диванчик,
слышу сговор звезды со звездой
и живу, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой.
1992

* * *

Когда я был счастливый
там, где с тобой я жил,
росли большие ивы
и топали ежи.
Всходили в мире зори
из сердца моего,
и были мы и море —
и больше никого.
С тех пор, где берег плоский
и синий тамариск,
в душе осели блески
солончатых брызг.
Дано ль душе из тела
уйти на полчаса
в ту сторону, где Бело-
сарайская коса?
От греческого солнца
в полуденном бреду
над прозою японца
там дух переведу.
Там ласточки — все гейши —
обжили — добрый знак —
при Александр Сергейче
построенный маяк.
Там я смотрю на чаек,
потом иду домой,
и никакой начальник
не властен надо мной.
И жизнь моя — как праздник
у доброго огня...
Теперь в журналах разных
печатают меня.
Все мнят во мне поэта
и видят в этом суть,
а я для роли этой
не подхожу ничуть.
Лета в меня по капле
выдавливают яд.
А там в лиманах цапли

на цыпочках стоят.
О, ветер Приазовья!
О, стихотворный зов!
Откликнулся б на зов я,
да нету парусов...
За то, что в порах кожи
песчинки золоты,
избави меня, Боже,
от лжи и суеты.
Меняю призрак славы
всех премий и корон
на том Акутагавы
и море с трех сторон!
1988–1989

* * *

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм, так уж, ведомо, не на крови.
С той поры как живу на земле неодохотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.
Там я радость познал, но бывала и смертная боль же,
и отвечу ль в свой час на таинственный вызов Отца?
В этой школе, поди, классов сто, а возможно, и больше,
но последнего нет, как у вечности нету конца...
С Украины в Россию уже не пробраться без пошлин —
еле душу унес из враждой озабоченных лап.
Кабы каждый из нас был подобьем и образом Божиим,
то и вся наша жизнь этой радостной школой была б.
Если было бы так! Но какие ж мы Божьи подобья?
То ли Он подменен, то ль и думать о нем не хотим.
Взрослым так и не став, я смотрю на людей исподлобья:
видно, в школу любви ни единый из них не ходил.
Обучение в ней не прошло без утрат и падений,
без отчаянных вин, без стыда и без совести кар:
знает только Отец, сколько я отвечал не по теме,
сколько раз, малодушный, с уроков на волю тикал.
Но лишь ею одной, что когда-то божественной мнили,
для чьего торжества нет нигде ни границ, ни гробниц,
нет, спасется не мир, но спасется единственный в мире,
а ведь род-то людской и слагается из единиц.
Ну и что за беда, если голос мой в мире не звонок?
Взрослым так и не стал. Чем кажусь тебе, тем и зови.
Вижу Божию высь. Там живут Иисус и ягненок.
Дай мне помощь и свет, всемогущая школа любви.
1992